

Вьетнамски гамбит



Александр Омельяненко

18+

Александр Омеляненко

Вьетнамский гамбит

«Автор»

2026

Омельяненко А.

Вьетнамский гамбит / А. Омельяненко — «Автор», 2026

«Вьетнамский гамбит» — история о женщине, оказавшейся между двумя мирами: жарким, стремительным Вьетнамом и родным Костанаем, где прошлое умеет напоминать о себе неожиданно. Здесь встречаются любовь и одиночество, тайны и случайности, воспоминания и выбор, который способен изменить всю жизнь. Путешествие превращается в игру, где у каждого есть свой ход, а цена ошибки порой слишком высока. Это история о чувствах, людях и судьбе, которая умеет делать самые неожиданные ходы.

© Омельяненко А., 2026

© Автор, 2026

Александр Омеляненко

Вьетнамский гамбит

«ВЬЕТНАМСКИЙ ГАМБИТ»

Глава первая. Степь

Степь начиналась сразу за аулом — так внезапно, будто кто-то провёл ладонью по земле и стёр границу. Не было между последним домом и бескрайним простором ни забора, ни дороги, ни какого-нибудь другого рубежа, который мог бы сказать человеку: вот здесь заканчивается одно и начинается другое. Просто последние глинобитные стены оставались позади, дальше темнели несколько старых сараев, возле которых лениво бродили овцы, а потом земля вдруг распахивалась во все стороны — до самого горизонта, где небо прижималось к земле так плотно, что казалось, будто там можно потрогать воздух.

Тургайская степь.

Летом она казалась огромной чашей, перевернутой вверх дном и наполненной солнцем. В полдень воздух над землёй дрожал, как нагретое стекло, и далеко впереди иногда появлялась вода — синеватая, зыбкая, настоящая только для того, кто впервые видел такое чудо. Подойдешь ближе — а там всё та же сухая трава, редкие кусты и дорога, уходящая неизвестно куда. Миражи, которые степь подбрасывала, как дразнящие намёки на что-то большее.

Суна любила смотреть туда. Она вообще любила смотреть далеко. Ей было десять лет, и никто в ауле не мог понять, зачем девочка так часто забирается на невысокий бугор за крайними домами и часами сидит там, обхватив колени руками.

— Опять мечтаешь? — спрашивал её старший брат Кайрат, усаживаясь рядом и щурясь от солнца.

— Нет.

— А что тогда делаешь?

— Смотрю.

— На что?

Суна пожимала плечами. На что можно смотреть в степи? На всё. На небо, которое сегодня было не просто синим, а будто выстиранным до прозрачности. На траву, которая шевелилась от ветра, как шерсть огромного зверя. На бегущую тень облака, на птицу, которая летит так высоко, что кажется чёрной точкой. На дорогу, где пыль ещё хранила следы утреннего табуна. На горизонт, где земля и небо сливались в тонкую линию, словно кто-то провёл её карандашом, а потом стёр края, чтобы не было видно, где кончается мир.

А иногда ей казалось, что если смотреть достаточно долго, то за горизонтом можно увидеть что-то такое, чего не видят остальные. Она пока не знала, что именно. Просто чувствовала, как внутри что-то тянется туда, за эту линию, будто там её ждёт что-то важное.

В тот день солнце поднялось рано, будто спешило занять своё место. Ветер ещё не успел нагреть землю, и степь пахла особенно свежо — пылью, прогретой за вчерашний день, горьковатым запахом полыни, сухим теплом ковыля. От сараев тянуло сеном, овечьей шерстью и тёплой пылью, которая оседала на ресницах и делала утро чуть шершавым, настоящим. Где-то лаяла собака, и этот звук был таким привычным, что почти сливался с тишиной. За аулом кричал мальчишка, погоняя лошадь, и его голос летел над степью, как брошенный камешек, который ударяется о воздух и рассыпается эхом.

Суна выбежала из дома босиком. На ней было простое светлое платье, уже немного выгоревшее от солнца, а волосы, которые утром она сама кое-как заплела в две косички, давно выбились из тесёмок и теперь вились вокруг лица, как тонкие нити. Солнце уже успело позолотить их, и они казались светлее, чем были на самом деле.

— Суна! — крикнул Кайрат.

Она обернулась, щурясь против света.

— Что?

— Мяч!

У крыльца стояли её братья. Кайрату было тринадцать, и он уже старался держаться так, будто знает о жизни больше, чем все вокруг. Младшему Еркему — восемь, и в его глазах ещё жила та детская уверенность, что мир создан специально для него. Мяч был старый, потрескавшийся, местами заклеенный полосками ткани. Но для мальчишек это был настоящий футбольный мяч, и другого им было не нужно.

— Я тоже буду! — сказала Суна, и голос её прозвучал твёрже, чем она сама ожидала.

Кайрат посмотрел на неё с таким выражением, будто она предложила ей самой вспахать поле.

— Девочки не играют.

— А я играю.

— Ты всё равно не умеешь.

Суна молча подошла и отняла мяч у Еркека.

— Эй!

Она бросила мяч на землю, развернулась и побежала. Трава под босыми ногами была тёплой, но ещё хранила ночную прохладу, и это ощущение — одновременно тёплого и холодного — пробежало по ступням, как электрический ток. Где-то попадались острые сухие стебли, которые царапали кожу, где-то мягкий ковыль щекотал щиколотки, и от этого хотелось смеяться.

Мальчишки заорали и бросились за ней. Через минуту возле аула уже стоял такой шум, словно там проходило настоящее соревнование.

— Отдай!

— Не дам!

— Суна, стой!

— Догоняй!

Она бежала легко, чувствуя, как ветер треплет её платье и выбившиеся пряди волос. Она смеялась. Смех её был таким звонким, что, казалось, он не просто летел по степи, а отталкивался от земли и возвращался обратно, усиливаясь, как эхо в горах. Мальчишки гнались за ней, кричали, спорили, падали, снова вскакивали и опять бросались вперёд.

В какой-то момент Еркек поскользнулся и рухнул прямо в пыль. Все остановились. На его колене выступила кровь — маленькая, яркая капля, которая сразу начала расползаться по коже.

Суна первой подбежала к нему.

— Больно?

— Нет.

— Не ври.

— Не больно!

Она присела рядом, смахнула с его колена землю ладонью, и на коже остался светлый след, как от прикосновения. Кайрат подошёл следом.

— Мужчина плакать не должен.

Еркек посмотрел на него сердито.

— Я и не плачу.

— Тогда вставай.

Еркек поднялся, и на его лице было столько решимости, что даже кровь казалась не раной, а знаком отличия. Через минуту они снова играли.

Так проходили многие их дни. В ауле никто не спрашивал детей, хотят ли они помогать взрослым. Помощь была такой же частью жизни, как сон, еда, школа или игры. Когда солнце поднималось высоко и начинало припекать так, что даже тень становилась горячей, мальчишки переставали гонять мяч.

Кайрат шёл к отцу. Еремек тащился следом, иногда оглядываясь на Суну, будто проверяя, идёт ли она тоже. Суна шла. Отец уже был во дворе. Он стоял возле небольшого сарая и проверял загородку для овец — дёргал доски, прислушивался к скрипу, смотрел, не прогнило ли где.

— Кайрат, подай молоток.

— Сейчас.

Мальчик побежал к ящику с инструментами, и его шаги поднимали маленькие облачка пыли, которые висели в воздухе, как крошечные звёзды.

— Еремек, принеси проволоку.

— А где она?

— Там, где вчера лежала.

Еремек задумался, хмурия лоб так сильно, что на нём появлялись морщинки, будто он пытался вспомнить что-то очень важное.

— А где она вчера лежала?

Отец посмотрел на него и впервые за утро улыбнулся — не широко, а так, что улыбка мелькнула и исчезла, как солнечный блик на воде.

— Вот поэтому и спрашиваешь.

Суна засмеялась, и её смех прозвучал как маленький колокольчик. Отец посмотрел на неё.

— А ты чего смеёшься?

— Ничего.

— Тогда иди помоги братьям.

— Хорошо.

Она взяла небольшое ведро и пошла к поилке. Вода в ней была тёмной и прохладной, с лёгкой рябью, которая дрожала от каждого движения воздуха. Работа была нехитрая, но её хватало на весь день: нужно было принести воду, проверить корм, собрать разбежавшихся овец, подмести двор, помочь отцу с хозяйством.

Жизнь была небогатой. Но дети не знали, что она небогатая. Для них это была просто жизнь — такая, какая есть. Солнце, которое грело спину и слепило глаза. Степь, которая пахла полынью и пылью. Дом, где скрипели половицы и пахло лепёшками. Отец, который говорил мало, но каждое его слово было весомым. Братья, которые ворчали, но всегда прикрывали спину. И мама.

Вот только мама уже давно почти не выходила во двор. Болезнь поселилась в доме раньше, чем Суна научилась понимать, что такое страх. Туберкулёз. Это слово взрослые проносили тихо, почти шёпотом, будто боялись, что оно, сказанное громко, станет сильнее.

Когда Суна была маленькой, ей казалось, что мама просто долго кашляет. Потом она заметила, что мама стала худеть. Сначала исчезли круглые щёки, и лицо стало как будто чужим, угловатым. Потом руки стали тонкими, словно из них вытащили все кости, оставив только кожу и жилы. Потом даже волосы будто потеряли прежний блеск и стали тусклыми, как старая ткань.

Мама часто лежала возле окна. Окно оставляли приоткрытым, чтобы в комнате был воздух, и оттуда тянуло прохладой, которая смешивалась с запахом лекарств и высушенных трав. Когда она кашляла, отец отворачивался. Не потому, что не хотел видеть её. Наоборот. Он просто не хотел, чтобы жена заметила его глаза — те самые, в которых читалось всё, что он не мог сказать вслух. Суна замечала. Дети вообще замечают то, что взрослые пытаются скрыть.

В тот день, когда хозяйственные дела были закончены, Суна вошла в дом. Внутри было прохладнее, и после яркого солнца глаза несколько секунд привыкали к полумраку, который

казался почти уютным, будто дом обнимал её и шептал: «Тихо, всё хорошо». Мама лежала на постели, и её лицо в полутени казалось бледнее, чем обычно, а тени под глазами были глубокими, как маленькие пропасти.

— Суна?

— Я здесь.

— Где была?

— Помогала папе.

— Устала?

— Нет.

Суна подошла к окну. На подоконнике стояла чашка с водой — простая, глиняная, с небольшой трещиной, которую мама всегда прикрывала пальцем, когда брала её. Суна взяла чашку и осторожно подала матери.

Мама сделала несколько маленьких глотков, и на её губах осталась капля воды, которая блестела, как крошечная жемчужина.

— Спасибо.

Суна села рядом. Ей хотелось рассказать про мяч. Про то, как Ермек упал. Про то, как она убежала от Кайрата. Про сурка, которого видела утром. Но слова вдруг стали тяжёлыми, будто каждое из них могло упасть на мамино одеяло и придавить его. Поэтому она промолчала.

— Расскажи что-нибудь.

— Что?

— Что-нибудь.

Суна задумалась.

— Я сегодня сурка видела.

Мама улыбнулась, и эта улыбка была такой лёгкой, что казалась почти невесомой.

— Большого?

— Нет. Маленького.

— Он тебя не испугался?

— Я его больше испугалась.

Мама тихо засмеялась. И тут же закашлялась. Кашель был сухим, резким, как треск ломающейся ветки, и он сразу разрушил ту хрупкую тишину, которая только что появилась в комнате.

Суна замерла. Улыбка исчезла с её лица, и вместо неё появилась та самая сосредоточенность, которая бывает у детей, когда они пытаются удержать что-то хрупкое. Она уже знала этот кашель. Знала, как он начинается глубоко внутри, как постепенно становится сильнее, как мама закрывает рот ладонью и отворачивается, будто хочет спрятать его от всех.

Суна подождала. Когда кашель стих, она принесла полотенце — то самое, с вышитыми цветами, которое мама сама когда-то делала. Мама вытерла губы и сказала:

— Не смотри на меня так.

— Как?

— Будто я сейчас умру.

Суна опустила глаза.

— Я не смотрю.

— Вот и хорошо.

Несколько секунд в комнате было тихо. С улицы донёсся голос Кайрата, потом лай собаки, потом снова тишина, которая теперь казалась не пустой, а наполненной чем-то тяжёлым, что нельзя было потрогать.

Суна встала.

— Я цветы принесла.

Она выбежала во двор и вернулась с маленьким букетом. Это были степные цветы — простые, невзрачные для человека, который привык к садовым розам и пионам. Но Суна собирала их с таким удовольствием, будто каждая травинка была драгоценностью. Она знала места, где после дождя появлялись первые цветы. Знала, какие можно рвать, а какие лучше оставить. Иногда она долго стояла над одним цветком, рассматривая его лепестки, которые были тоньше бумаги и казались почти прозрачными на солнце. Ей казалось неправильным просто сорвать его и бросить в букет. Поэтому каждый раз она сначала приседала, проводила пальцами по траве, смотрела, слушала тишину и только потом решала.

Сегодня она принесла белые, жёлтые и маленькие голубоватые цветы, которые пахли едва уловимо, но очень по-степному — горьковато и свободно.

Мама посмотрела на букет.

— Красивые.

— Я сама собирала.

— Я знаю.

Суна поставила цветы в стакан — не в вазу, потому что вазы у них не было, а именно в стакан, и вода в нём сразу стала чуть мутной от пылицы.

— Теперь здесь красиво.

— Здесь и без цветов красиво.

— Нет.

Мама посмотрела на неё.

— Почему?

Суна не ответила. Она не могла объяснить. Ей хотелось, чтобы в доме было больше жизни. Чтобы здесь пахло не лекарствами и высушенными травами, а свежестью, хлебом, цветами. Чтобы мама смеялась чаще. Чтобы отец не смотрел по ночам в потолок, будто пытался прочесть там что-то, что никто другой не видел. Чтобы Кайрат и Ермек не говорили шёпотом, когда думали, что она их не слышит. Чтобы всё было как раньше. Хотя она уже не помнила, когда именно это «раньше» закончилось.

Вечером отец забил во дворе колышек и привязал к нему лошадь. Солнце уже клонилось к горизонту, и степь менялась с каждой минутой, как живое существо, которое надевает новые одежды. Днём она была жёлтой и ослепительной, а вечером вдруг становилась медной, потом красноватой, а вдали — почти фиолетовой, будто небо пролилось на землю и растеклось по ней. Тени вытягивались на десятки метров, становясь длинными и тонкими, как стрелы. Над землёй поднималась прохлада, которая не была холодной, а скорее свежей, как глоток воды после долгого бега.

Суна вышла за двор. Ей хотелось ещё немного побыть на воздухе, почувствовать, как ветер касается кожи, как трава шепчет что-то на своём языке. Впереди, возле невысокого холма, снова показался сурок. Он стоял столбиком, маленький, настороженный, с ушами, которые ловили каждый звук. Суна тоже остановилась. Они смотрели друг на друга, и в этот момент казалось, что весь мир сузился до этой маленькой точки, где девочка и зверёк замерли, пытаясь понять друг друга.

Потом сурок резко свистнул и исчез в норе, будто его и не было. Суна рассмеялась.

— Ну и чего ты испугался?

Из-за спины раздался голос Кайрата:

— Он тебя знает.

— Откуда?

— Ты его каждый день пугаешь.

— Неправда.

— Правда.

— Я его не пугаю.

— Тогда почему он от тебя убегает?

Суна задумалась. Ей вдруг показалось, что сурок видит в ней что-то большое и непонятное, что заставляет его прятаться.

— Потому что я большая.

Кайрат рассмеялся, и этот смех был тёплым, как солнце, которое уже почти село.

— Большая?

— Да.

— Тебе десять лет.

— Всё равно большая.

Он потрепал её по голове, и от этого простого жеста на душе стало спокойнее.

— Пойдём.

— Куда?

— Домой.

Суна ещё раз посмотрела на степь. Вечерний ветер шевелил траву, и ковыль двигался волнами, и казалось, будто огромная земля дышит — глубоко, медленно, спокойно. Где-то далеко кричала птица, её голос был тонким и пронзительным, как игла, которая прошивает небо. Ещё дальше, на дороге, двигалась маленькая повозка, и её силуэт был чёрным на фоне заката.

Отец позвал детей. Суна пошла домой. Она ещё не знала, что когда-нибудь будет вспоминать этот вечер. Не как обычный вечер. Как последний вечер своего детства, когда весь её мир помещался в несколько домов, в отцовский двор, в голос братьев, в мамину улыбку и в бесконечную степь.

Она ещё не знала, сколько дорог ей предстоит пройти. Не знала, сколько раз ей придётся уезжать и возвращаться. Не знала, что однажды ей придётся сделать выбор, от которого изменится не только её жизнь. Пока она была просто Суной. Девочкой из маленького аула среди Тургайской степи. Девочкой, которая любила цветы. Любила бегать босиком. Любила своих братьев. И больше всего на свете хотела, чтобы мама снова стала здоровой.

А над аулом уже зажигались первые звёзды — маленькие, острые, как иголки, которыми небо пришивало ночь к земле. Степь темнела, и только ветер всё ещё шёл по траве — от горизонта к горизонту, словно кто-то невидимый перелистывал огромную книгу, в которой судьба Суны ещё только собиралась написать первую страницу.

Глава вторая. Четыре года

Болезнь матери обострилась. Она долго стояла где-то рядом, словно чужой человек у ворот, которого сначала никто не замечает. Потом вошла во двор. Потом переступила порог. А однажды уже не захотела уходить.

Суна привыкла к материнскому кашлю. Привыкла к тому, что по ночам отец просыпается от тяжёлого дыхания жены. Привыкла к запаху лекарств, к чашкам с настоями трав, к тихим разговорам взрослых, в которых слова будто специально подбирали потише, чтобы не разбудить беду. Но к тому, что мама однажды совсем перестала вставать с постели, привыкнуть не смогла.

В тот день в доме было необычно тихо. Не та тишина, когда все заняты делом и потому молчат, а та, что ложится на плечи тяжёлым покрывалом. Суна сидела возле матери и перемалывала сухие цветы, которые собирала летом. Лепестки уже потеряли цвет, но запах ещё держался — тонкий, травяной, будто лето спряталось в этих сухих стебельках.

Мама смотрела в потолок. Она стала совсем худой. Суна раньше думала, что человек может быть худым оттого, что мало ест. Теперь она понимала: болезнь умеет отнимать человека постепенно. Сначала силу из рук, потом румянец с лица, потом голос.

— Суна...

— Я здесь.

— Позови отца.

Девочка выбежала во двор. Отец стоял возле сарая, перекладывал доски, проверял, не прогнило ли где.

— Папа!

Он обернулся.

— Что?

— Мама зовёт.

Отец посмотрел на неё и сразу понял, что дело серьёзное. Он вытер руки о штаны, будто стирал с них всю обычную, будничную работу, и вошёл в дом.

Через некоторое время приехала машина. Потом ещё одна. В доме появились люди, которых Суна раньше почти не замечала: врач, фельдшер, соседка. Говорили тихо, но Суна всё слышала. Мать нужно было отправить в город. В Кустанай. В туберкулёзную больницу.

Для девочки слово «больница» было страшным. Но ещё страшнее было другое. Куда отправят её? Кто будет рядом? Кто приготовит еду? Кто утром разбудит? Кто скажет, чтобы она не ходила босиком по холодной земле? Кто вечером поправит одеяло?

Суна не задавала этих вопросов вслух. Она просто стояла у двери и смотрела, как взрослые собирают вещи. Когда мать выносили из дома, Суна бросилась к ней.

— Мам...

Мать посмотрела на неё. На секунду в её глазах появилась прежняя теплота — та, что раньше грела весь дом.

— Не бойся.

Суна кивнула. Но боялась. Очень.

Машина уехала. Пыль долго висела над дорогой, будто не хотела отпускать этот день. Суна стояла у ворот, пока автомобиль не исчез за поворотом. Потом посмотрела на отца. Он тоже смотрел вслед. И в этот момент Суна впервые увидела в его лице не взрослого человека, который знает, что делать, а просто уставшего мужчину, у которого кончились ответы.

После отъезда матери дом изменился. Не сразу. Сначала всё продолжалось почти так же: отец вставал рано, старший брат помогал по хозяйству. Но воздух в комнатах стал другим — в нём больше не было маминого голоса.

Кайрат становился всё более серьёзным. Он уже не был тем мальчишкой, который гонял мяч по степи. Жизнь быстро объясняла ему, что детство заканчивается не тогда, когда человек становится взрослым по паспорту. Иногда оно заканчивается тогда, когда некому больше работать.

Отец всё чаще уезжал. Иногда на несколько дней, иногда возвращался поздно. А потом Суна стала замечать, что в доме происходит что-то ещё. Отец стал приходить не один. Появилась женщина. Сначала она просто помогала по хозяйству, потом стала оставаться дольше. Потом в доме стало ясно, что отец выбрал другую жизнь.

Суна не могла понять этого выбора. Она знала только одно: мама в больнице, а отец рядом с другой женщиной. Дети оставались дома. Они ещё не умели быть самостоятельными. Но старший брат постепенно взял хозяйство на себя.

Для Суны он стал человеком, на которого можно было опереться. Не отцом. И не матерью. Чем-то другим. Он был одновременно наставником, учителем, защитником и строгим старшим братом.

Он мог утром разбудить её:

— Суна, вставай.

- Ещё пять минут.
- Нет пяти минут.
- Есть.
- Уже нет.

Он мог заставить её идти за водой, мог показать, как правильно доить козу, как держать ведро, чтобы не расплескать половину воды по дороге, как различать овец, как заметить, что животное заболело, как не оставлять ворота открытыми, как не спорить со взрослым человеком, когда спор ничего не изменит.

Но самое главное — он учил её ответственности.

- Если взяла дело — закончи.
- А если не хочу?
- Не хотеть можно. Не делать нельзя.

Суна сердито смотрела на него. Она не любила такие разговоры. Особенно потому, что в глубине души считала себя свободной. И именно эта свобода пришла к ней из Тургая. Но в тот момент она ещё не знала, что туда попадёт.

В Тургай её отправили почти неожиданно. Старший брат однажды сказал:

- Тебе надо пожить у родственников.
 - Почему?
 - Так будет лучше.
 - Для кого?
- Брат посмотрел на неё.
- Для тебя.
 - Я хочу здесь.
 - Здесь тебе будет тяжело.

Суна отвернулась. Она не хотела уезжать. Но решение было принято.

Через несколько дней её посадили в машину. Дорога до Тургая казалась бесконечной. За окном всё время была степь. Иногда она становилась ровной и гладкой, как огромное поле. Иногда земля вздымалась невысокими волнами. Попадались редкие колодцы, одинокие деревья, стада. Далеко на горизонте появлялись всадники.

Суна смотрела в окно. Ей было страшно. Но одновременно она чувствовала странное любопытство. Что будет там? Какие люди? Какой дом? Какая школа? Сначала она думала, что пробудет там месяц. Потом два. Потом вернётся домой. Она не знала, что пройдут четыре года.

Тургай встретил её не городом, а простором. Посёлок казался ей большим. Не потому, что в нём было много домов, а потому, что здесь всё было иначе. Другие улицы, другие дворы, другие голоса. Дети, которых она никогда не видела. Собаки, которые лаяли на незнакомцев. Старики, сидевшие вечерами возле домов. И степь. Та же самая степь. Но совсем другая.

Суна быстро освоилась. Дети приняли её не сразу. Она была чужой. Но Суна не умела долго оставаться чужой. Она умела дружить. Умела спорить. Умела бегать быстрее многих мальчишек. Умела залезть туда, куда другим девочкам запрещали. А главное — она не боялась пространства.

Ей нравилось уходить далеко от дома. Иногда она могла исчезнуть на несколько часов: уйти за холмы, сесть возле старого арыка, собирать цветы, наблюдать за сурками, смотреть, как над землёй пролетают птицы. Она возвращалась тогда, когда ей хотелось. И постепенно взрослые привыкли к этому.

- Где Суна?

- В степи.
- Когда вернётся?
- Когда нагуляется.

Так прошло лето. Потом осень. Потом зима. Весна. И снова лето. Суна росла. Менялся её голос, вытягивались ноги, становилась тоньше талия, волосы становились длиннее. Но главное менялось внутри. Она привыкала принимать решения сама. Если хотела идти в степь — шла. Если хотела сидеть на берегу — сидела. Если хотела собирать цветы — собирала. Если хотела дружить с кем-то — дружила. Если не хотела — никто не мог заставить.

Свобода стала для неё не развлечением. Она стала привычкой. А привычка, как известно, иногда превращается в характер.

В Тургайской степи Суна научилась различать времена года не по календарю. Весну она узнавала по запаху земли — по тому, как после дождя воздух становился тяжёлым и живым. Лето — по горячему ветру, который сушил губы и заставлял щуриться. Осень — по особой тишине, когда даже птицы будто говорили тише. Зиму — по тому, как снег начинал скрипеть под ногами, будто земля сама отзывалась на каждый шаг.

Летом она уходила далеко. Бывало, набирала в подол цветов столько, что идти становилось неудобно. Она могла остановиться посреди поля и десять минут выбирать между двумя почти одинаковыми цветами. Почему? Сама не знала. Просто ей хотелось взять именно тот, который казался самым красивым.

Она разговаривала с ними мысленно. Иногда даже вслух:

— Тебя сорву.

Потом переходила к следующему:

— А тебя нет.

Если цветок был слишком маленьким, она оставляла его. Если рос один среди травы — тоже. Ей казалось, что одинокие цветы жалко.

Однажды она принесла домой целую охапку. Старенькая бабушка посмотрела на неё:

— Куда столько?

— Красивые.

— Все?

— Все.

— А если завтра завянут?

Суна задумалась.

— Тогда завтра другие соберу.

Бабушка улыбнулась.

— Вот и правильно.

Она не знала, что в этих простых словах уже угадывался характер её внучатой племянницы. Суна не держалась за прошлое. Если цветок увял — она искала другой. Если день закончился — ждала нового. Если кто-то уходил — сначала плакала, потом училась жить дальше. Но если кто-то пытался отнять у неё свободу — тогда Суна становилась упрямой. Очень упрямой.

В школе она училась хорошо. Не была отличницей во всём, но учителя замечали её способности. Особенно она любила литературу. Ей нравились рассказы о людях. Она могла прочитать страницу и потом долго думать о человеке, который там жил: почему он так поступил, почему не сделал иначе, почему один человек прощает, а другой никогда.

Иногда учительница спрашивала:

— Суна, как ты думаешь?

И Суна отвечала совсем не так, как ожидали. Она не боялась собственного мнения. Это нравилось не всем.

— Ты слишком самостоятельная, — однажды сказала ей учительница.

Суна не поняла, хорошо это или плохо.

— Это плохо?

Учительница улыбнулась.

— Пока нет.

Четыре года пролетели незаметно. Суна уже не была той маленькой девочкой, которую привезли сюда почти против её воли. Она стала частью посёлка. У неё появились любимые места, свои дороги, свои подруги, свои секреты. Даже старенькая бабушка, за которой Суна любила прятаться, стала для неё родным человеком.

И потому, когда однажды приехала тётя, Суна сразу почувствовала неладное. Тётя вошла во двор с дорожной сумкой.

— Суна.

Девочка вышла из дома.

— Здравствуйте.

— Собирайся.

Суна застыла.

— Куда?

— Домой.

Она почувствовала, как внутри всё сжалось.

— Я не хочу.

Тётя посмотрела на неё.

— Что значит — не хочу?

— Не хочу домой.

— Почему?

Суна молчала. Как объяснить взрослому человеку, что здесь она уже привыкла быть собой? Что здесь никто не следил за каждым её шагом? Что здесь она могла выйти утром и вернуться вечером? Что здесь она знала, куда идти, где искать цветы, где прячутся сурки и где лучше всего смотреть на закат?

Дом для неё теперь был не только родным. Он стал местом, где её ждут обязанности. А Тургай стал местом, где она была свободной.

Она бросилась к бабушке.

— Я не поеду.

Бабушка погладила её по голове.

— Поедешь.

— Не хочу!

— Девочка...

— Не хочу!

Она спряталась за старенькую женщину, словно та могла защитить её от всего мира.

Тётя вздохнула.

— Суна, хватит.

— Я здесь останусь.

— Тебе нельзя оставаться.

— Почему?

И тогда тётя сказала то, чего Суна боялась больше всего:

— Потому что ты нужна дома.

Суна молчала. Мать всё ещё болела. Отец ушёл к другой женщине. Братья подросли, но самостоятельными ещё не стали. Старший брат держал на себе хозяйство, но один человек не мог заменить сразу всех. И теперь пришло время вернуть Суну. Она поняла это. Но принять не смогла.

Когда тётя стала собирать её вещи, Суна плакала молча. Не так, как плачут маленькие дети. Она не кричала. Не падала на пол. Просто сидела возле сундука и смотрела на свои вещи: платье, старую кофту, книги, несколько лент, небольшой мешочек с засушенными цветами. Она взяла его в руки.

Бабушка сказала:

— Возьми.

Суна кивнула.

— Возьму.

Перед самым отъездом она вышла за двор. Степь была такой же, как вчера. И позавчера. И год назад. Она смотрела на неё и пыталась запомнить всё: холм, сухой куст, дорогу, старую тропу, место, где они с девочками прятались от жары, одинокий камень, на котором она любила сидеть. Ей казалось, что если она всё запомнит, то сможет унести Тургай с собой. Но степь невозможно унести. Можно только носить её внутри.

Суна вытерла слёзы.

— Я вернусь, — сказала она тихо.

Никто не ответил. Только ветер прошёл по траве, будто шепнул: «Может быть».

Дом встретил её совсем иначе, чем четыре года назад. Суна стала старше. И теперь она сразу увидела то, чего раньше не замечала: пустоту, мамино отсутствие, усталость старшего брата, хозяйство, которое требовало рук, отца, который теперь появлялся лишь иногда.

Он мог приехать, помочь с ремонтом, поправить изгородь, посмотреть скот. Иногда оставался ненадолго. Но прежнего дома уже не существовало. Суна поняла это почти сразу.

И всё же она вернулась. Школа. Дом. Хозяйство. Братья. Каждый день был похож на предыдущий. Но Суна была уже другой.

Если младший брат говорил:

— Сделай это.

Она могла сделать. Но если он говорил:

— Ты должна!

Суна тут же вспыхивала.

— Почему должна?

— Потому что я сказал.

— А ты кто?

Младший брат злился.

— Я твой брат!

— И что?

Он бежал жаловаться старшему. Но Суна уже знала: старший брат её защитит. Особенно по пятницам. Почему именно по пятницам? Потому что к концу недели Суна особенно уставала от мелких приказов и придиорок. А старший брат часто возвращался домой именно в этот день.

Едва он входил во двор, Суна уже бежала к нему.

— Кайрат!

Он ещё не успевал снять куртку.

— Что случилось?

— Он опять меня обижал!

— Кто?

— Ермек.

Младший брат тут же появлялся в дверях.

— Я ничего не делал.

— Делал!

— Не делал!

Суна уже плакала.

— Он заставлял меня всё делать одну!

Старший брат смотрел сначала на неё, потом на Ермека.

— Это правда?

— Нет.

— Ермек.

— Ну... немного.

— Подойди сюда.

Мальчик нехотя подходил. Иногда наказание было простым: несколько строгих слов. Иногда — работа, которую он должен был сделать вместо сестры. Но после этого Ермек неизменно говорил:

— Ябеда.

Суна сердито вытирала слёзы.

— Сам ябеда.

— Ты ябеда!

— А ты вредный!

И через полчаса они уже сидели рядом во дворе.

Так проходили дни. Ссоры. Примирения. Школа. Хозяйство. Дом. Степь. Мамины письма. Редкие приезды отца. И постоянное присутствие старшего брата, который постепенно становился для всех детей человеком, удерживающим семью от окончательного распада. Суна этого тогда не понимала. Она просто знала: если станет страшно — нужно идти к нему. Если будет несправедливо — нужно рассказать ему. Если что-то сломается — он починит. Если кто-то обидит — он защитит. А если младший брат снова назовёт её ябедой — она переживёт. Потому что завтра снова будет утро. Снова школа. Снова двор. Снова степь. И, может быть, снова цветы.

Только теперь Суна уже знала одну вещь, которой не знала четыре года назад: свобода — это не когда тебе никто ничего не запрещает. Свобода — это когда ты сама решаешь, кем хочешь быть. И эту мысль она уже никому не позволит у неё отнять.

Глава третья. Брат быка за рога

Так в суматохе пролетели ещё три года.

Время в ауле вообще умело проходить незаметно. Утро начиналось с работы, день растворялся в делах, а вечером человек вдруг обнаруживал, что ещё один день остался позади, и ничего особенного в нём не было, но вот он кончился, и уже не вернуть.

Суна уже почти не замечала, как меняется её лицо. Ещё вчера она казалась самой себе девчонкой с двумя косичками, которая носилась за мячом вместе с братьями. А теперь косы стали длинными и тяжёлыми, движения — уверенными, а во взгляде появилось что-то такое, чего не было прежде: тихая, внутренняя сила, которая не кричит о себе, но чувствуется, как чувствуешь тепло от закрытой печки.

Она научилась молчать, когда нужно. Научилась спорить, когда нельзя было промолчать. Научилась понимать взрослых по одному взгляду: вот этот смотрит устало, вот этот — сердито, вот этот говорит одно, а глаза у него уже давно решили другое. И главное — она начала думать

о будущем. Раньше будущее было чем-то далёким, неясным, как мираж в степи. Теперь оно стало ближе, и от этой близости щекотало внутри, как перед прыжком в воду.

Школа подходила к концу.

Последний звонок прозвучал в тот день, когда ветер гонял по школьному двору пыль, а солнце уже по-летнему припекало макушки. Девушки фотографировались, прижимаясь друг к другу, накидывая друг другу на плечи руки, будто боялись, что после сегодняшнего дня уже не будут стоять вот так все вместе. Парни шутили, но шутки были неловкими, и за ними угадывалось то же, что и за смехом девчонок: страх перед тем, что будет дальше. Учителя старались говорить серьёзно, но сами улыбались, и от этих улыбок веяло таким теплом, что хотелось, чтобы этот день не кончался.

Суна стояла среди одноклассников и смотрела на школьное здание. Обычная школа. Несколько классов, старые окна, краска, выгоревшая от солнца до бледно-голубого, почти белого. Ничего особенного. Но для неё это было место, где закончилась одна жизнь. И должна была начаться другая.

— Куда будешь поступать? — спросила подруга, и голос её звучал так, будто она спрашивала не о поступлении, а о том, какой человек будет через десять лет.

Суна ответила сразу:

— В педагогический.

— Учительницей?

— Да.

Она произнесла это уверенно. Будто решение уже было принято судьбой. Хотя на самом деле судьба ничего за неё не решила. Она сама хотела. Ей нравились дети. Нравилось объяснять. Нравилось читать. Нравилось, когда человек сначала чего-то не понимает, а потом вдруг у него в глазах загорается: «Я понял!» — и это маленькое чудо происходило прямо у неё на глазах.

Суна хотела быть такой учительницей. Не той, которой боятся, которая говорит сухо и требует молчания. Той, которую помнят. Той, после уроков которой хочется не закрыть учебник и забыть, а открыть его ещё раз и прочитать заново.

Вступительные экзамены оказались совсем не похожи на школьные. Там уже никто не спрашивал, кто она. Никому не было дела до того, сколько работы она переделала дома. Никто не видел, как она помогала больной матери, как вставала затемно, как после школы шла во двор и работала до темноты. Здесь существовали только знания. Бумаги. Баллы. Конкурс. И Суна стояла в коридоре среди чужих лиц, и чувствовала: всё, что она знала о себе, здесь не значит ничего. Здесь она — просто строчка в списке, просто фамилия, и фамилия эта должна доказать, что за ней стоит человек, который чего-то стоит.

Суна сдала экзамены. Ждала. Дни тянулись медленно, как верблюд в степи. Каждый раз, когда она вспоминала о списках, внутри что-то сжималось, и она заставляла себя думать о другом: о работе, о хозяйстве, о цветах, которые в этом году особенно рано зацвели за аулом.

Потом увидела списки.

Они висели на стенде, и вокруг них уже стояли люди. Суна подошла. Пальцы сами начали искать фамилию. Выше. Ниже. Ещё ниже. Сердце стучало где-то в горле, мешая дышать. Она перечитала список второй раз. Потом третий. Фамилии не было.

Она не прошла.

Сначала она ничего не почувствовала. Просто стояла. Вокруг ходили люди. Кто-то радовался, и этот радостный гул давил на уши, как вата. Кто-то звонил домой, и в его голосе звучала та гордость, от которой хотелось отвернуться. Кто-то плакал, и эти слёзы были ближе, понятнее, но Суна не могла плакать. Она смотрела на лист бумаги, и ей казалось, что сейчас кто-

нибудь подойдёт и скажет: «Ошибка. Вот ваша фамилия, мы просто пропустили». Но никто не подошёл.

Она вернулась домой молча. Всю дорогу в машине смотрела в окно, но не видела ни степи, ни неба, ни дороги. Только этот лист бумаги, прикопленный к стенду, с чужими фамилиями, между которыми не было её.

Старший брат посмотрел на неё.

— Ну?

Суна сняла платок. Положила его на спинку стула. Помолчала.

— Не поступила.

Он некоторое время молчал. Потом пожал плечами.

— Не смогла учиться — крути быкам хвосты.

Это была обычная деревенская фраза. Не проклятие. Не трагедия. Просто так говорили, когда кому-то не удавалось, а жизнь требовала идти дальше. Но Суна слышала в ней совсем другое. Она слышала: сдавайся, твоя дорога — здесь, в этом дворе, среди этих овец, и ничего больше тебе не светит.

Она подняла голову.

— Буду.

— Что?

— Хвосты крутить.

Брат усмехнулся.

— Вот и хорошо.

Он не хотел её обидеть. Но она обиделась. Сильно. Не на брата даже — на себя. На свои недостаточные знания. На то, что она была уверена в себе, а оказалось: уверенность ещё ничего не значит. Уверенность без знаний — это костёр без дров: горит ярко, но гаснет быстро.

На следующий день Суна пошла искать работу.

Так она оказалась в фельдшерско-акушерском пункте. Работа санитарки была не из тех, о которых мечтают девушки после школы. Мыть полы. Убирать. Носить воду. Следить за чистотой. Помогать фельдшеру. Встречать больных. Иногда держать ребёнка, пока фельдшер осматривает его, и ребёнок орёт так, что закладывает уши, а ты шепчешь ему: «Тише, тише, всё хорошо», — и он вдруг затихает, потому что твой голос оказался ровнее, чем ему хотелось. Иногда бегать за лекарствами. Иногда просто сидеть рядом с человеком, которому плохо, и молчать, потому что в такие минуты молчание нужнее слов.

Но Суна быстро освоилась. Она была резвой. Смекалистой. Не боялась работы. Если ей показывали один раз, второй уже не требовался. Руки у неё были ловкие, быстрые, привычные к любому труду, и это было видно сразу.

— Ты где этому научилась? — удивлялся фельдшер, глядя, как она за минуту управится с тем, на что у других уходило пять.

— Жизнь научила.

— А если жизнь не научила?

— Тогда с первого раза запоминаю.

Он смеялся. И этот смех был тёплый, добрый, от которого на работе становилось легче.

Суна нравилась людям. Она могла быть серьёзной, когда нужно, и через минуту уже шутить. Могла носиться по коридору, если кому-то требовалась помощь, так, что полы гудели под ногами. Могла спокойно разговаривать со старухой, которая пришла измерить давление и полчаса рассказывала о своих болячках, и слушать так внимательно, будто это были самые интересные истории на свете. Старухи уходили довольные, и Суна знала: иногда человеку просто нужно, чтобы его выслушали.

Работа постепенно перестала казаться временной. Но Суна не забывала о своей мечте. Иногда, когда в ФАПе становилось тихо и лишь часы тикали на стене, она брала книгу и читала. Свет из окна падал на страницы, и пылинки кружились в нём, как маленькие планеты.

Фельдшер смотрел на неё.

— Опять учишься?

— А что?

— Тебе мало?

— Мало.

— А поступать снова будешь?

Суна закрывала книгу, держа палец между страницами, будто не хотела полностью расставаться с тем, что только что читала.

— Буду.

Он улыбался.

— Упрямая.

— А как иначе?

Однажды в ФАПе отмечали праздник. Стол накрыли просто: хлеб, мясо, салаты, чай. Кто-то принёс бутылку, и она стояла посреди стола, тёмная, неприметная, как будто знала, что ей здесь не очень рады.

Суна сначала отказалась. Потом фельдшер уговорил её попробовать немного. Она попробовала. И сразу почувствовала, что это совсем не её. Спирт обжёг горло, глаза заслезились, и по телу прошла волна жара, неприятная, чужая, будто кто-то чужой на секунду вселился в неё.

Фельдшер рассмеялся.

— Ну как?

Суна посмотрела на него, моргая слезящимися глазами.

— Отвратительно.

— А ты хотела, чтобы сладко было?

— Я вообще не хотела.

Она больше такого не повторяла. Этот маленький эпизод остался в памяти как случайность, мелочь. Но Суна запомнила его. Жизнь иногда подбрасывает человеку возможность попробовать что-то ненужное. Главное — вовремя понять, что это не твоё. Суна поняла. И, как всегда, решила по-своему.

Дома её жизнь была совсем другой. Работа в ФАПе заканчивалась — и начиналась вторая работа. Полы. Вода. Хозяйство. Животные. Печь. Уборка. Стирка. Белиль нужно было регулярно. Весной особенно, когда стены покрывались тёмными разводами после зимы, и дом выглядел так, будто его не ремонтировали сто лет.

Суна брала ведро с известью, кисть и начинала проходить по стенам. Белая полоса ложилась на серую поверхность, свежая, чистая, пахнувшая резко и свежо. Ещё одна. Ещё. Запах извести щипал нос, забирался в горло, и глаза слезились, но Суна не останавливалась. Она отступала назад, смотрела на стену, прищуривала глаза. Если где-то оставалось тёмное пятно — снова проводила кистью, аккуратно, ровно, как будто рисовала. Всё должно было быть чистым. Так её учили. Так жила семья.

Иногда она работала до темноты. Солнце уже уходило за горизонт, и степь темнела, а она всё ещё была во дворе, и только маленькая лампочка над крыльцом бросала тусклый свет на белые стены, которые она только что побелила. И однажды, в такой вот вечер, отец приехал.

Он появился неожиданно. Суна в это время белила стену. Волосы выбились из платка, на руках были белые следы, лицо покрылось мелкими капельками извести, будто она стояла в тумане. Она даже не сразу заметила отца.

— Суна.

Она обернулась.

— Папа?

Он посмотрел на неё. Потом на ведро. На стены. На двор. На хозяйство. На саму дочь, стоящую перед ним с кистью в руке, белую от извести, уставшую, но не сдающуюся. Несколько секунд молчал. А потом сказал:

— Доченька...

Суна ждала. Слово «доченька» отец произносил редко. Обычно он говорил коротко, хозяйски: «Подай», «Принеси», «Сделай». А тут — «доченька». И в этом одном слове было столько, что Суна почувствовала, как горло сжалось.

— Уезжай в город.

Она нахмурилась.

— Зачем?

Отец посмотрел на неё серьёзно.

— Село не для тебя.

Суна усмехнулась.

— Почему?

— Ты не умеешь здесь жить.

Она хотела возразить. Хотела сказать, что умеет. Что с детства работает. Что знает хозяйство. Что может всё. Что побелка, вода, овцы, печь — для неё не проблема. Но отец продолжил:

— Ты можешь больше.

Суна замерла. Кисть застыла в руке, и с неё медленно капала известь, белая капля повисла на кончике и упала в траву.

Отец посмотрел ей прямо в глаза.

— Здесь ты пропадёшь.

Эти слова вошли в неё глубже, чем он мог предположить. Не как упрёк. Не как приказ. Как правда, которую она сама знала, но боялась произнести вслух, потому что произнести — значит признать, и признать — значит действовать.

Он уехал. А Суна осталась возле белой стены. Вечерний ветер трепал край её платка. Она долго смотрела на кисть в своей руке. Потом опустила её в ведро. Провела ещё одну белую полосу. И вдруг поняла: она уедет.

С этого дня у неё появилась цель. Не мечта — цель. Мечта может оставаться мечтой, висеть в воздухе, как облако, красивая и бесполезная. Цель требует работы. Цель ставит условия. Цель будит тебя в три часа ночи и говорит: «Вставай, я тебя жду».

Суна начала заниматься. По вечерам. После работы. После хозяйства. Иногда ночью. Книга лежала перед ней на столе, и свет от маленькой лампы падал на страницы, и за окном было темно и тихо, только иногда протянет ветер, прошуршит по крыше, и снова тишина.

Она читала. Перечитывала. Записывала. Зубрила. Если не понимала — возвращалась к началу, читала медленнее, по строчке, вникая в каждое слово. Она доставала старые школьные тетради. Их страницы были исписаны неровным почерком, некоторые листы пожелтели, некоторые были вырваны. Но она собирала всё, раскладывала перед собой, как карты, и пыталась сложить из этого то, что не сложилось в школе.

Сначала было трудно. После тяжёлого дня глаза закрывались сами, и тело ныло так, будто в нём не осталось ни капли силы. Она клала голову на руку, и сон накрывал её, тёплый, тяжё-

лый, как одеяло. Просыпалась. Смотрела на часы. Вставала. Умывалась холодной водой — и эта холодная вода будто срывала с неё усталость, как корку. Снова садилась.

— Ещё час, — говорила себе.

Иногда час превращался в два. Иногда до рассвета оставалось совсем немного, и в окно уже заглядывал первый серый свет, а она всё сидела, и страница перед ней плыла, и глаза болели, но она не вставала, потому что знала: если встанет сегодня, то завтра будет ещё труднее.

Родственники не верили.

— Куда ты собралась?

— В институт.

— После всего этого?

— Да.

— Конкурс большой.

— Знаю.

— А если опять не получится?

Суна пожимала плечами.

— Тогда ещё раз попробую.

— Денег хватит?

— Разберусь.

— В городе тяжело.

— Знаю.

— Ты там никого не знаешь.

— Познакомлюсь.

Они переглядывались. Кто-то улыбался снисходительно, как улыбаются детям, которые говорят, что станут космонавтами. Кто-то качал головой, и в этом жесте читалось: «Молодость, молодость...» Кто-то считал её затею очередной девичьей фантазией, которая рассыплется при первом же столкновении с реальностью. Но Суна уже не слушала. Она взяла быка за рога. И теперь отпускать не собиралась.

Когда пришло время ехать на экзамены, она почти не чувствовала страха. Страх был, конечно — он всегда есть, как тень, от него никуда не деться. Но рядом с ним появилось другое чувство, и оно было сильнее. Упрямство. То самое, которое пришло к ней из Тургайской степи, когда она была ещё девочкой, которая умела говорить цветам «тебя сорву», а им в ответ — «а тебя нет».

Она приехала. Снова коридоры, пахнувшие краской и старым линолеумом. Снова документы. Снова экзамены, и снова ручка в руке, и снова лист перед глазами, и снова время бежит быстро, и снова вопросы, на которые она теперь знала ответы — не все, но многие, и каждый ответ был оплачен бессонной ночью, каждым «ещё час», каждой холодной водой на лице в четыре утра.

Снова списки.

Только теперь Суна была другой. Она знала цену этой попытке. Каждый выученный билет был оплачен бессонной ночью. Каждая правильная строчка — часами работы после ФАПа. Каждый ответ — теми днями, когда она могла бросить всё и сказать: «Ну и пусть». Но не бросила.

Когда появились списки, Суна долго не решалась подойти. Толпа стояла возле стенда, и люди толкались, и кто-то уже смеялся, и кто-то уже молчал, и она стояла в стороне, и сердце колотилось так, что казалось — его слышат все вокруг. Потом она шагнула вперёд. Протисну-

лась ближе. Посмотрела. Сначала ничего не увидела — буквы расплывались, будто написаны на воде. Потом нашла фамилию. Прочитала. Ещё раз. И ещё.

Она прошла.

Поступила.

На несколько секунд мир вокруг исчез. Шум людей, разговоры, шаги, голоса — всё стало каким-то далёким, будто за стеклом. Она просто стояла и смотрела на свою фамилию, напечатанную чёрными буквами на белом листе, и эта фамилия казалась ей чужой и одновременно — самой родной вещью на свете. Потом улыбнулась. Потом засмеялась. А потом неожиданно заплакала. Не от горя. От облегчения. Оттого, что получилось. Оттого, что отец оказался прав. Село действительно было не пределом её жизни.

Но Суна ещё не знала, что город даст ей не только знания. Он даст ей людей. Дружбу. Любовь. Разочарования. Предательства. И встречи, которые спустя много лет заставят её понять: иногда человек думает, что сам выбирает дорогу. А на самом деле дорога уже давно выбрала его.

Суна ещё ничего этого не знала. Она просто стояла у института с небольшим чемоданом в руке и смотрела на город, который лежал перед ней, большой, шумный, чужой. Ветер с степи ещё чувствовался в волосах. Запах извести ещё не до конца сошёл с ладоней. А в маленьком мешочке, на дне чемодана, лежали засушенные тургайские цветы — те самые, что она собирала когда-то в степи, разговаривая с каждым.

Перед ней была новая жизнь. И впервые в жизни — жизнь, которую она выбрала сама.

Глава четвёртая. Город

В аул Суна вернулась уже другой. Не той девочкой, которую когда-то отправили в Тургай к родственникам, и даже не той девушкой, которая ещё недавно мыла полы в фельдшерско-акушерском пункте и белила стены, будто хотела стереть с дома саму память о зиме. Теперь она была студенткой. Пусть пока только на бумаге. Пусть впереди были годы учёбы, неизвестность и город, который она видела лишь изредка — как далёкий мираж, когда степь дрожит от жары. Но само слово «институт» уже меняло её в глазах окружающих.

Когда стало известно, что Суна поступила, родственники решили устроить дастархан. Дом с самого утра наполнился голосами, запахом горячего теста и жареного мяса. Кто-то принёс мясо, кто-то лепёшки, на столе появился баурсак, масло, сладости, чайник с горячим чаем. Старшие сидели отдельно, переговариваясь негромко, с достоинством. Молодёжь толпилась возле двери и во дворе, смеялась, толкалась, будто сама радость сегодня была шумной и нетерпеливой.

Суна сначала смущалась. Ей казалось, что все смотрят только на неё, будто она — не она, а какая-то другая, особенная Суна, о которой все говорят.

— Ну что, студентка? — поддразнил её один из родственников, хитро прищурившись.

— Студентка, — ответила она спокойно, но в груди что-то дрогнуло.

— Теперь нас забудешь?

— Не дождётесь, — улыбнулась она, и все засмеялись.

Отец сидел чуть в стороне, не в центре, не на почётном месте, а там, откуда лучше видно всех. Он выглядел довольным. Не шумел, не хвастался, не рассказывал, как она с детства была умницей. Но по его лицу было видно: дочерью он гордился. И в этом молчании было больше слов, чем в любом тосте.

Когда подали чай, один из старших поднял пиалу.

— За Суну. Пусть учёба ей даст дорогу в жизнь. Пусть знания никогда её не подведут. Пусть встретит хороших людей и не потеряет себя среди них. И пусть дорога её будет долгой и счастливой.

— Аминь, — ответили за столом.

Суна опустила глаза. Ей было приятно. Но она вдруг подумала о матери. Если бы мама была здесь... Эта мысль кольнула сердце, как иголка, которую не видишь, но чувствуешь. Она знала, что мать всё ещё болеет. Знала, что болезнь тяжёлая. Но внутри всё равно жила детская надежда: а вдруг однажды мама встанет, поправится, и всё снова станет как раньше?

Суна подняла глаза на отца. Он встретился с ней взглядом.

— Учись, — сказал он негромко.

— Буду.

— И не бойся города.

Суна улыбнулась.

— Я ничего не боюсь.

Отец усмехнулся.

— Это я уже знаю.

Через несколько дней Суна уехала. Вещей было немного: чемодан, несколько платьев, книги, тетради, пара обуви. И маленький мешочек с засушенными цветами, который когда-то подарила ей бабушка. В нём пахло степью, солнцем и детством — так, что стоило открыть, и сразу вспоминались тёплые дни, когда всё казалось простым.

Перед отъездом Суна вышла во двор. Степь была такой же бескрайней, как всегда, будто и не заметила, что в её краю кто-то вырос. Она постояла немного, глядя вдаль, туда, где небо обнимало землю, и горизонт был не линией, а обещанием. Ей вдруг стало ясно, что теперь она будет видеть её реже. Не каждое утро. Не каждый вечер. Не тогда, когда захочется. И от этой мысли стало непривычно тяжело, как будто степь вдруг стала чужой, хотя она знала, что это не так.

Но машина уже ждала. Суна взяла чемодан.

— До свидания, — сказала она степи.

И сама рассмеялась своей мысли. Разве степи говорят «до свидания»? Разве ветер отвечает? Но она всё равно сказала. Потому что иногда нужно попрощаться вслух, чтобы понять: ты уходишь не навсегда, но сейчас ты уходишь.

Кустанай встретил её шумом. После аула город казался огромным, будто кто-то взял степь и перевернул её вверх дном: вместо тишины — гудки, вместо ветра — голоса, вместо неба — высокие дома, которые заслоняли горизонт. Автобусы, машины, люди, магазины, двери, хлопающие без остановки, витрины, отражающие всё сразу.

Суна первое время переходила улицу с такой осторожностью, словно переходила реку по камням, проверяя каждый шаг. Ей казалось, что город никогда не спит. Даже вечером где-то хлопали двери, ездили машины, разговаривали люди, и этот непрерывный гул был таким чужим, что хотелось закрыть уши.

В общежитии всё было непривычно: комната на несколько человек, чужие девочки, чужие привычки. Кто-то говорил громко, будто весь мир должен был её услышать. Кто-то до ночи слушал музыку, и бас стучал в стену, как сердце. Кто-то плакал из-за парня, уткнувшись в подушку. Кто-то смеялся так, что стены дрожали.

Суна быстро привыкла. Она вообще умела привыкать. Жизнь научила её этому раньше, чем университет: если нельзя уйти — надо встроиться. Если нельзя изменить — надо понять.

Первые недели были похожи на праздник. Учёба, новые лица, лекции, библиотека, коридоры, общежитие, столовая, девчонки. Суна впервые почувствовала, что вокруг неё много молодых людей, которые тоже только начинают взрослую жизнь. У каждой была своя история:

одна приехала из соседнего района, другая — из далёкого села, третья мечтала стать директором школы, четвёртая собиралась после института уехать на север.

Они быстро подружились. По вечерам сидели в комнате, разговаривали, смеялись, обсуждали преподавателей, покупали недорогие пирожки, ходили в парк, иногда просто бродили по улицам без всякой цели. Суна смотрела на витрины и удивлялась тому, сколько всего существует в мире. В ауле выбор был простым: хлеб, молоко, платье, сапоги. Здесь же ей казалось, что жизнь предлагает человеку тысячи дорог, и каждая из них манит своим светом. Она ещё не знала, что большинство из них всё равно приходится выбирать самому.

В парке Суна любила одну аллею. Там росли старые деревья, их кроны сплетались над дорожкой, и летом листья закрывали небо, и под ними становилось прохладно, будто природа специально прятала это место от жары. Девушки садились на лавочки. Кто-то читал, кто-то кормил птиц, кто-то ждал свидания. Суна любила смотреть на людей. Ей было интересно наблюдать за ними: как разговаривают, как смеются, как ссорятся, как мирятся.

Она постепенно понимала одну вещь: город только кажется большим. Люди в нём такие же. Им тоже бывает страшно. Они тоже хотят любви. Также ждут хороших новостей. Также тоскуют по дому. Также иногда делают вид, что всё хорошо, хотя внутри всё дрожит.

Первый год прошёл быстро. Суна училась. Иногда тяжело, когда формулы не складывались, а слова в учебнике будто разбегались по странице. Иногда легко, когда вдруг всё становилось понятно, и это понимание было таким сладким, что хотелось смеяться. Она не была избалованной. Она знала цену возможности учиться.

Мама всё ещё болела. Отец тянул хозяйство. Братья росли. Денег постоянно не хватало. Суна оставляла себе минимум. Подрабатывала где могла: то помогала в столовой, то брала временную работу, то мыла окна, то соглашалась на любую работу, которую могла совместить с учёбой.

Подруги иногда удивлялись:

— Как ты живёшь на такие деньги?

Суна пожимала плечами.

— Нормально.

— Но у тебя почти ничего нет.

— Есть.

— Что?

Она улыбалась.

— Будущее.

Девушки смеялись. А Суна не шутила. Она действительно так думала. Для неё будущее было не абстракцией, а чем-то осязаемым — как книга, которую она держала в руках, как билет на экзамен, как строчка в тетради.

Потом пришла весть о матери. Она пришла обычным письмом. Несколько строк. Всего несколько строк способны иногда разделить жизнь человека на «до» и «после». Суна прочитала письмо один раз. Потом второй. Потом села на кровать. Девушки разговаривали в комнате, но она уже не слышала их. Слова в письме были простыми, но они падали в неё, как камни.

Мама умерла.

Вот и всё. Слово было коротким. Невозможно коротким для того, что оно означало.

Суна долго сидела неподвижно. Потом встала. Подошла к окну. Город жил своей жизнью: кто-то шёл по улице, машины проезжали мимо, кто-то смеялся, где-то звонил телефон. А для Суны в этот момент весь мир остановился. Она вдруг вспомнила комнату в детстве: окно, мамину постель, стакан воды, цветы, тихий голос: «Расскажи что-нибудь».

Суна закрыла глаза. И впервые за много лет заплакала так, как плачут дети — без стыда, без попытки остановиться, просто позволяя горю выйти наружу. Она плакала о матери, о своём детстве, о том, что не успела сказать, о том, что теперь уже никогда не скажет.

Первые дни после смерти матери Суна почти не разговаривала. Посobie по потере кормильца, которое ей оформили, было небольшим. Но деньги она почти полностью отправляла отцу. На лекциях сидела, смотрела в одну точку. Преподаватель объяснял материал, она записывала автоматически, будто её рука знала, что делать, даже когда голова отказывалась думать.

В общежитии подруги старались её не трогать. Однажды одна из них тихо сказала:

— Суна, тебе надо есть.

— Не хочу.

— Всё равно надо.

Она поставила перед ней тарелку. Суна посмотрела на еду, потом на подругу.

— Спасибо.

И заставила себя поесть.

Постепенно жизнь вернулась. Не потому, что боль исчезла. Просто жизнь не спрашивает человека, готов ли он снова жить. Она просто продолжается. Нужно вставать. Идти на лекции. Платить за общежитие. Покупать хлеб. Сдавать зачёты. Улыбаться. Иногда смеяться. Даже если внутри пусто. Суна поняла это очень рано.

Посobie она продолжала получать. Но почти все деньги отправляла домой. Отец сначала возражал:

— Оставь себе.

— Мне хватит.

— Тебе самой надо.

— Я подработаю.

— Не надо.

— Надо.

Он знал её характер. Спорить было бесполезно. Деньги уходили в аул. А Суна снова бралась за любую работу. Жила скромно. Но не считала себя несчастной. Она не завидовала девочкам, у которых были новые платья. Если у неё не было денег на новое — она перешивала старое. Если не могла пойти в кафе — гуляла в парке. Если не могла купить билет на мероприятие — слушала музыку во дворе общежития. Она научилась быть счастливой не от количества денег, а от того, что у неё был выбор. И этот выбор она делала сама.

И именно в городе появилась любовь. Парень был из её местности. Они встретились почти случайно: она шла по коридору, он стоял у расписания, и их взгляды встретились, и в этом мгновении было что-то знакомое, будто они уже видели друг друга раньше, просто не знали имён.

Сначала просто разговаривали. Потом стали встречаться. Потом обнаружили, что ждут этих встреч, как ждут весны после долгой зимы. Он знал степь. Знал аульную жизнь. Понимал, что такое хозяйство, родственники, дастархан, строгий взгляд старших. С ним Суне было

легко. Они могли часами гулять, говорить о будущем, смеяться над прошлым, вспоминать знакомых, обсуждать людей из своего края.

Он однажды сказал:

— А ты изменилась.

— В какую сторону?

— Стала городской.

Суна возмутилась:

— Я?!

— Да.

— Ничего подобного.

— А раньше ты была другой.

— Раньше я была ребёнком.

Он посмотрел на неё.

— А теперь?

Суна улыбнулась.

— Теперь сама не знаю.

Они влюбились. По-настоящему. Без громких слов. Любовь иногда начинается не с признания. Она начинается с того, что человек вдруг становится первым, кому хочется рассказать новость. Первым, кому хочется позвонить. Первым, кого ищешь глазами среди людей. Так было и у них.

Но Суна оставалась Суной. Характер никуда не делся. Однажды парень сказал:

— Давай поженимся после второго курса.

Суна посмотрела на него.

— Нет.

Он рассмеялся.

— Почему?

— Потому что я сказала.

— А если я хочу?

— Хотеть можешь.

— А ты?

— Я тоже хочу.

— Тогда в чём дело?

Суна посмотрела ему прямо в глаза.

— Я сначала закончу институт.

— Четыре года ждать?

— Да.

Он покачал головой.

— Ты серьёзно?

— Абсолютно.

Он попытался спорить. Но быстро понял: если Суна что-то решила, сдвинуть её с места почти невозможно.

Она любила его. И именно поэтому не хотела торопить события. Для неё свадьба была не игрой. Не способом сбежать из общежития. Не романтическим приключением. Это был выбор на всю жизнь. А пока она хотела получить образование. Она слишком хорошо знала, как легко женщина может оказаться зависимой от обстоятельств. Она хотела иметь профессию. Знать, что сможет прокормить себя. Что сможет сама принимать решения. Что любовь будет любовью, а не единственной возможностью устроить жизнь.

Поэтому сказала:

— Пока я студентка — я студентка.

Он улыбнулся.

— А после?

— После посмотрим.

И ещё одно правило Суна установила сама: никаких совместных ночей.

— Ты мне не доверяешь? — однажды спросил он.

— Доверяю.

— Тогда почему?

— Потому что доверять человеку и нарушать собственные правила — разные вещи.

Он посмотрел на неё и улыбнулся.

— Ты невозможная.

— Зато честная.

Так они и встречались. Гуляли. Сидели в парке. Ходили по улицам. Покупали одно мороженое на двоих, если денег было мало. Иногда он провожал её до общежития. Иногда они просто сидели на скамейке и молчали. В их отношениях было ожидание. И это ожидание не разрушало любовь. Наоборот, оно делало её серьёзнее. Суна не позволяла ни ему, ни себе превратить чувства в случайность.

Годы проходили один за другим: первый курс, второй, третий, четвёртый. За окном менялись времена года: зима укрывала город белым покрывалом, весна размывала снег и обнажала тротуары, лето звенело жарой и велосипедными звонками, осень сыпала листьями, как золотыми монетами. Суна становилась взрослее. В ней всё ещё жила девочка из степи, которая когда-то собирала цветы и бегала босиком за мячом. Но теперь рядом с ней появилась другая женщина: та, которая умела считать деньги, умела работать, умела учиться, умела любить, умела сказать «нет». И самое главное — умела ждать.

Четыре года пролетели среди лекций, экзаменов, общежития, подработок, прогулок и свиданий. И когда однажды Суна вышла из института после последнего экзамена, она остановилась на ступеньках. Посмотрела на город. Когда-то он казался ей огромным, чужим, пугающим, будто хотел поглотить её. Теперь он стал привычным. Она улыбнулась. Казалось, Кустанай уже не был чужим. Он стал частью её жизни.

Но Суна ещё не знала, что окончание института не станет концом её дороги. Это будет только первая настоящая развилка. Потому что впереди её ждала жизнь, в которой уже нельзя будет спрятаться ни за старенькой бабушкой, ни за старшим братом, ни за стенами общежития. Теперь ей самой предстояло отвечать за каждый сделанный шаг. И именно тогда начнётся история, которую спустя много лет назовут совсем другим именем.

Глава пятая. Фаина Григорьевна

Суна окончила институт в год, когда мир вокруг неё вдруг стал другим.

Не сразу. Не в один день. Но она чувствовала: что-то сдвинулось, как сдвигается земля перед землетрясением — незаметно, тихо, а потом уже ничего не вернуть.

Союз, в котором она родилась и выросла, перестал существовать. Кустанай стал Костанаем. Казахстан стал независимым государством. Новые флаги взметнулись над зданиями, новые законы легли на столы, новые лица появились на экранах телевизоров. Люди говорили о реформах, о приватизации, о будущем, которое никто не мог толком представить, потому что прошлое, которое все знали, вдруг оказалось прошлым.

Для Суны эти перемены были не абстрактными. Они касались каждого дня. Цены менялись. Появлялись новые магазины, новые вывески, новые люди, которые вдруг стали кем-то — будто из воздуха возникли коммерсанты, директора, владельцы чего-то, что вчера ещё было общим. На улицах стало больше машин. Появились первые иномарки — чужие, блестящие, с левым рулём, казавшиеся пришельцами из другого мира.

Суна наблюдала за всем этим спокойно. Она умела наблюдать. Она делала это с детства — с того самого бугра за аулом, где смотрела на горизонт и чувствовала: что-то там есть, что-то ждёт.

Теперь она знала: горизонт был не за степью. Он был здесь, вокруг неё. И она стояла прямо на нём.

Диплом она получила без лишних эмоций. Не потому, что не радовалась — радовалась. Но радость была тихой, внутренней, как ручей, который течёт под землёй: снаружи не видно, а он есть. Она знала, что диплом — это не панацея. Это ключ, который открывает дверь, но за этой дверью ещё коридор, а за коридором — следующий, и так далее, и каждый требует своего ключа.

Суна думала, что после института пойдёт в школу. Что будет учительницей, как мечтала. Что встанет перед классом, откроет книгу и увидит эти глаза — глаза, в которых загорается: «Я понял!» Она хотела именно этого. Простого, ясного, как степной рассвет.

Но жизнь распорядилась иначе.

Однажды, когда Суна уже почти смирилась с мыслью, что ей предстоит искать школу — а школ в городе было много, но мест в них было мало, и конкурс на каждое место был такой, будто не в школу устраиваешься, а в космонавты, — ей позвонила одна из преподавательниц.

— Суна, есть предложение.

— Какое?

— Один из коммерческих вузов ищет секретаря-референта ректора. На полную ставку. Хорошие условия. Перспектива.

Суна молчала.

— Суна?

— Я слышу. Думаю.

— Не долго. Место уйдёт.

Суна положила трубку. Села на кровать. Рядом лежал чемодан, ещё не разобранный после последней поездки домой. На подоконнике — стакан с давно увядшими цветами, которые она так и не выбросила, потому что выбросить — значит признать, что лето кончилось.

Секретарь-референт. Что это такое? Она смутно представляла. Что-то связанное с бумагами, телефонами, разговорами. Что-то городское, чего она никогда не делала. Она умела мыть полы, белила стены, доить козу, носить воду, бегать босиком по степи, собирать цветы, учить билеты ночью, плакать о матери, любить, ждать, говорить «нет». Но секретарь-референт?

Суна подумала о ФАПе. О фельдшере, который говорил: «Упрямая». О ведре с известью. Об отце, который сказал: «Здесь ты пропадёшь».

Отец был прав. Село было не пределом. Но и институт не был пределом.

Она позвонила обратно.

— Согласна.

Вуз назывался длинно и солидно — так, что Суна с первого раза не запомнила, а со второго записала в тетрадку, чтобы не забыть. Это был один из новых коммерческих институтов, которые в те годы появлялись в Костанае, как грибы после дождя: кто-то открывал, кто-то

закрывал, кто-то переименовывал, кто-то объединялся. Время было такое — всё двигалось, всё менялось, всё было зыбким, как тот мираж в Тургайской степи, к которому идёшь и никогда не дойдёшь.

Здание института стояло на одной из центральных улиц. Не новое, но ухоженное. Ступени перед входом были вымыты. В холле пахло свежей краской и кофе. На стенах висели портреты — серьёзные мужчины в очках, которые будто знали что-то такое, чего остальные ещё не поняли. Суна прошла мимо них, поднялась на второй этаж и остановилась перед дверью с табличкой.

Табличка гласила:

Ф. Г. ФЕДОРОВА Ректор

Суна постучала.

— Войдите.

Она вошла.

Кабинет был большим. Окно во всю стену, за которым виднелся город — крыши, деревья, кусок неба. Письменный стол, тяжёлый, тёмного дерева, на нём — стопки бумаг, телефон, ваза с цветами. Настоящими, живыми, в отличие от тех, что стояли у Суны на подоконнике. Книжный шкаф до потолка. На полках — не только учебники, но и толстые книги в кожаных переплётах, которые выглядели так, будто их не читали, а только любовались. На стене — диплом в рамке, фотография в серебряном паспорту, на которой Суна не успела рассмотреть лица.

А за столом сидела женщина.

Фаина Григорьевна Федорова.

Ей было за пятьдесят. Может, чуть больше. Но она выглядела так, что возраст не бросался в глаза, а лишь угадывался — в мелких морщинках у висков, в чуть усталых складках у рта, в той особой осанке, которая приходит к женщине не от молодости, а от привычки держать себя. Она была одета просто, но так, что простота эта казалась дороже любого наряда: тёмная юбка, светлая блузка, на шее — тонкая цепочка с маленьким кулоном, который поблёскивал, когда она двигалась. Волосы — с проседью, но уложенные так, будто только что из салона. Руки — ухоженные, с коротким, аккуратным маникюром. Ни одного лишнего кольца. Только обручальное — тонкое, потёртое, которое она то надевала, то снимала, будто не могла решить, носить его или забыть.

Она смотрела на Суну.

Суна смотрела на неё.

Несколько секунд они молчали. Потом Фаина Григорьевна заговорила. Голос у неё был низкий, чуть хрипловатый, как у женщины, которая много курила и мало спала, но при этом привыкла командовать — не криком, а интонацией, которая была весомее любого крика.

— Суна?

— Да.

— Садитесь.

Суна села. Кресло было мягкое, глубокое, и она почувствовала себя в нём маленькой, будто кресло было сделано для кого-то другого, более крупного и уверенного.

— Расскажите о себе.

Суна рассказывала. Коротко, без лишних слов. Аул. Тургай. Мама. Братья. Институт. Работа в ФАПе. Побелка стен. Экзамены. Поступление. Смерть матери. Подработки. Учёба. Диплом.

Фаина Григорьевна слушала. Не перебивала. Не кивала. Просто слушала, и её глаза при этом были такие, будто она видела не Суну, а что-то за ней — что-то, что было ей знакомо и близко.

Когда Суна закончила, Фаина Григорьевна помолчала. Потом достала из ящика стола пачку сигарет. Посмотрела на Суну.

— Вы не против?

— Нет.

Она приоткрыла окно, закурила. Дым тонкой струйкой ушёл в щель, а Фаина Григорьевна облокотилась на подоконник и впервые улыбнулась. Не широко — уголком губ, но в этой улыбке было что-то тёплое, будто она нашла то, что искала.

— Вы мне нравитесь.

Суна не знала, что ответить.

— Спасибо.

— Это не комплимент. Это диагноз.

Суна моргнула.

— Вы из тургайских степей. Я вижу это не по документам. По вам. Вы не испорчены. Не нахватуны. Не замылены. Город вас не сожрал, хотя мог бы. Вы честная. И у вас есть характер. А это, поверьте мне, — редкость. Особенно сейчас. Особенно здесь.

Она затянулась, выпустила дым.

— Многого вы не умеете. Это видно. Но неумеющий — не значит неспособный. Неумеющий — значит необученный. А необученному легче, чем переученному.

Она вернулась к столу, села, сложила руки.

— Я научу вас такому этикету, что многие в Костанае и понятия не имеют, что он существует. Я научу вас носить платье так, чтобы мужчина забыл, о чём он говорил. Научу подавать руку так, чтобы рука была весомее слова. Научу молчать так, чтобы ваше молчание было красноречивее чужой речи. Научу смотреть так, чтобы взгляд работал, как ключ. Я научу вас быть не просто секретарём. Я научу вас быть тенью, без которой ректор не может существовать. Вы согласны?

Суна смотрела на неё. Внутри всё сжалось — не от страха, а от предчувствия чего-то большого. Как тогда, в детстве, когда она стояла на бугре и смотрела за горизонт. Она не знала, что там. Но чувствовала: что-то есть.

— Согласна.

Фаина Григорьевна кивнула.

— Хорошо. Приступим.

Первые недели были адом.

Не потому, что работа была тяжёлой — Суна привыкла к тяжёлой работе. А потому, что Фаина Григорьевна требовала точности, которую Суна раньше не встречала нигде. Ни в школе, ни в институте, ни в ФАПе, ни в степи.

— Документы на столе лежат не так. Они лежат вот так. Левый край — ровно. Правый — на два сантиметра ниже. Это не каприз. Это дисциплина. Если человек не может положить бумагу ровно, он не сможет ровно мыслить.

— Телефонный звонок. Вы снимаете трубку. Вы не говорите «алло». Вы говорите: «Привет ректора, здравствуйте». Это не мелочь. Это первое впечатление. А первое впечатление — это всё.

— Вы входите в кабинет. Вы не идёте к столу. Вы останавливаетесь у двери и ждёте, пока я подниму глаза. Если я не подняла — вы не вошли. Вы стоите. Стоите столько, сколько нужно. И когда я подниму глаза — вы спрашиваете разрешение. Не молча подходите. Не крадётесь. Стоите.

— Чай. Вы приносите чай. Не в кружке. В пиале. Если пиалы нет — в чашке с блюдцем. Лимон — отдельно. Сахар — справа. Ложка — параллельно краю блюда. Если ложка лежит криво — это не ложка. Это неряшливость.

Суна сначала думала, что Фаина Григорьевна издевается. Потом поняла: нет. Это не издевательство. Это система. И в этой системе есть своя красота — как в степи, где каждый цветок стоит именно там, где стоит, и ничего нельзя переставить, не нарушив целое.

Она училась.

Училась подавать документы так, чтобы рука не дрожала. Училась отвечать по телефону так, чтобы голос звучал ровно, уверенно, без суеты. Училась входить в кабинет так, чтобы шаг был мягким, но не крадущимся. Училась сидеть на совещании так, чтобы присутствовать, но не давить. Училась слушать так, чтобы запоминать не только слова, но и то, что между словами. Училась молчать, когда другие говорили, и говорить, когда другие молчали.

Фаина Григорьевна была требовательна. Иногда — до жестокости. Она могла прервать Суну посреди фразы и сказать:

— Стоп. Вы произнесли «значит» три раза за одно предложение. Уберите. Это слово-паразит. Слова-паразиты — это мысли-паразиты.

Могла вернуть документ:

— Переписать. Не потому, что неверно. Потому, что грязно. Рука бежит впереди головы. Это видно по почерку.

Могла заставить её трижды переписать одно и то же письмо:

— Первый раз — чтобы написать. Второй — чтобы проверить. Третий — чтобы убедиться, что вы проверили.

Но она никогда не унижала. Никогда не повышала голоса. Никогда не делала замечаний при посторонних. Всё — только в кабинете, только между ними двумя. И Суна это ценила. Она выросла в мире, где взрослые часто кричали на детей при всех. Фаина Григорьевна не кричала никогда. Её оружие было другое — взгляд. Один взгляд, и Суна уже знала: что-то не так.

Но Фаина Григорьевна была не только требовательной. В ней была и другая сторона — тёмная, тихая, которую Суна сначала заметила случайно.

Иногда, когда в кабинете никого не было и день уже клонился к вечеру, Фаина Григорьевна подходила к окну. Приоткрывала его. Закуривала. И стояла так, глядя на город, на крыши, на деревья, на далёкий закат, который красил небо в медные тона. И тихо напевала.

«В Кейптаунском порту, где пенные буруны...»

Голос её был низкий, хриловатый, и в этой песне было столько тоски, что Суна, случайно заставшая этот момент, замирала у двери и не решалась войти. Песня тянулась, как дым от сигареты, — медленно, плавно, и в каждом слове угадывалась не просто мелодия, а история. Чья-то. Может быть, её.

Иногда по щеке Фаины Григорьевны стекала слеза. Одна. Тихая. Она не вытирала её. Будто не замечала. Будто слеза была частью ритуала, частью этого вечернего стояния у окна, частью чего-то, что принадлежало только ей.

Суна видела это не один раз. И каждый раз тихо отходила от двери, не подавая виду. Она понимала: у каждого человека есть что-то, о чём он не говорит. Что-то, что можно только петь. Тихо. В одиночестве. У окна. С сигаретой и слезой, которая катится по щеке, как по стеклу, за которым — другой мир, другая жизнь, другой берег, до которого не доплыть.

Фаина Григорьевна была одинока. По-настоящему. Мужа не было — давно не было. Может, ушёл. Может, умер. Может, его и не было всерьёз. Только обручальное кольцо — тонкое, потёртое, которое она надевала и снимала, будто в этом жесте была вся нерешённость её жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.